

I

Ван Лун умирал. Он умирал в своем маленьком и темном старом доме среди полей, в комнате, где он спал еще юношей, на той самой кровати, где провел брачную ночь. Эта комната была меньше любой из кухонь в большом городском доме, тоже принадлежавшем ему, где жили теперь его сыновья и внуки. Но смерти нельзя избежать, и он был доволен, что умирает здесь, на своей земле, в старом доме своих предков, на кровати с синим ситцевым пологом, в комнате, где стоят грубый некрашенный стол и скамейки.

Ван Лун знал, что пришло его время, и, глядя на сыновей, стоявших возле его постели, понимал, что они ждут его смерти и что час его настал. Они позвали лучших врачей из города, и те пришли с иглами и лекарственными травами, долго щупали его пульс и смотрели язык, а потом собрали свои лекарства и, уходя, сказали:

— Он умирает от старости, никто не может избежать предназначенной ему смерти.

Ван Лун слышал, как шептались оба его сына, которые должны были оставаться при нем в этом старом доме до самой его смерти, — они думали, что отец забылся сном, но он слышал, как один торжественно сказал другому:

— Нужно послать на Юг за третьим сыном, нашим младшим братом.

И средний сын отвечал:

— Да, нужно послать немедленно; кто знает, где он скитается под командой своего генерала.

И услышав это, Ван Лун понял, что они готовятся к его похоронам.

Рядом с кроватью стоял гроб, который сыновья купили и поставили здесь ему в утешение. Гроб был большой, выдолбленный из цельного ствола железного дерева; он загромождал всю комнату, и те, кто входил и выходил, должны были жаться к стенке, обходя его кругом. Гроб стоил около шестисот серебряных монет, но даже средний сын не жалел о таком расходе, хотя не любил выпускать деньги из рук и редко тратил столько же, сколько получал. Нет, сыновьям не жаль было серебра, потому что Ван Лун радовался красивому гробу и время от времени, когда чувствовал себя в силах, протягивал ослабевшую желтую руку и ощупывал полированное черное дерево. Внутри этого гроба был второй гроб, выструганный до гладкости желтого атласа, — один входил в другой, как душа человека входит в тело. Такому гробу всякий был бы рад.

Несмотря на все это, Ван Луну было не так легко умирать, как его дряхлому отцу. Правда, душа его не раз была готова отправиться в путь, но каждый раз его еще крепкое тело возмущалось, что душа покидает его, и тогда между телом и душой начиналась борьба. Ван Лун пугался этого раздора. Душа его всегда была слабее тела; в свое время он был человек крепкий и здоровый, нелегко ему было расставаться со своим телом, чувствуя, что душа ускользает от него; он пугался и кричал хриплым, прерывающимся голосом, без слов, как кричат дети.

Как только он вскрикивал, его молодая наложница Цветок Груши, сидевшая возле него и день и ночь, начинала гладить его дряхлую руку своей нежной рукой, и оба сына бросались к нему и, утешая его, рассказывали о том, какие они ему устроят похороны. Снова и снова они повторяли рассказ о том, что собирались для него сделать. Старший сын, крупный, одетый в шелка мужчина, наклонялся над маленьким, высохшим телом умирающего старика и кричал ему на ухо:

— Процессия растянется больше чем на милю, и все мы пойдем за твоим гробом, и твои жены, как подобает, будут плакать, провожая тебя, и твои сыновья

4 и внуки, в белых траурных одеждах из посконно-

го холста, и соседи-крестьяне, и все твои арендаторы пойдут за твоим гробом! И носилки для твоей души понесут впереди, а на них поставят твой портрет, который мы заказали живописцу, а за носилками понесут твой красивый большой гроб, и ты будешь лежать в нем, словно император, в новой одежде, которая уже готова и дожидается тебя; и уже взяты напрокат шитые золотом красные покрывала, — ими покроют твой гроб, когда понесут его по городским улицам, все напоказ!

Так он кричал, пока у него не перехватывало дыхание и лицо не наливалось кровью, потому что он был человек тучный, а когда он выпрямлялся, переводя дух, рассказ продолжал средний сын Ван Луна. Это был хитрый маленький человек с желтым лицом, и говорил он в нос, пронзительным тонким голосом:

— Придут и священники, которые с пением будут провожать твою душу в рай, придут и наемные плакальщики и носильщики в желтых с красным одеждах и понесут все, что может понадобится тебе, когда ты станешь тенью. Мы заказали два дома из тростника и бумаги, они стоят пока в большом зале; один дом такой, как этот, а другой — как наш городской дом; в нем есть всякая домашняя утварь, слуги и рабы, носилки и лошадь и все, что может тебе понадобится. Они так хорошо сделаны из разноцветной бумаги, что я готов поклясться: не будет тени богаче твоей, когда мы сожжем эти дома на могиле и отправим их вслед за тобой, — и все эти вещи понесут за гробом, напоказ всему городу. Мы молимся только, чтобы для похорон выдался ясный день!

Старик обрадовался и, задыхаясь, шепнул:

— Пожалуй, на похороны придет весь город...

— Еще бы, разумеется, весь! — громко воскликнул старший сын и сделал широкий жест своей большой и мягкой белой рукой.

— По обеим сторонам улицы соберутся толпы народа, смотреть на похороны, потому что таких похорон не бывало давно, нет — какое там! — не бывало с тех самых пор, как большой дом Хуанов пришел в упадок!

Ван Лун облегченно вздохнул и так утешился, что на этот раз забыл о смерти и тут же уснул легким и чутким сном.

Но даже и это утешение не могло длиться вечно, и настал час на рассвете шестого дня, когда предсмертные муки старика пришли к концу. Оба сына устали дожидаться этого часа, потому что с юных лет отвыкли от лишений и не жили в этом неудобном и тесном доме: утомленные долгими муками отца, они легли спать на маленьком внутреннем дворе, который был выстроен их отцом много лет тому назад, в те дни, когда он был во цвете лет и взял свою первую наложницу Лотос. В начале ночи, уходя отдыхать, они велели Цветку Груши позвать их, если у отца вдруг начнется агония. На постели, которая когда-то казалась Ван Луну такой красивой и где он так страстно предавался любви, теперь улегся его старший сын, жалуясь, что кровать жестка и шатается от ветхости и что в комнате темно и душно, несмотря на весеннюю пору. Но улегшись, он уснул крепким сном, и прерывистый громкий храп вырывался из его жирного горла. А средний сын лег на коротком бамбуковом ложе у стены и уснул легким сном, тихо, как спят кошки.

Но Цветок Груши не спала совсем. Она просидела всю ночь, по своему обыкновению тихо и неподвижно, на маленьком бамбуковом стуле, таком низком, что когда она сидела возле кровати, лицо ее было близко к лицу старика, и держала его иссохшую, дряхлую руку в своих нежных ладонях. По возрасту она годилась в дочери Ван Луну и все же не казалась молодой, потому что у нее было терпеливое выражение лица и все, что она делала, она делала размеренно и как нельзя более терпеливо, что несвойственно молодости. Так она сидела возле старика, который был добр к ней, словно отец, добрее всех других, кого она знала, — и не плакала. Не отрываясь, час за часом смотрела она на лицо умирающего, когда

он спал тихим сном — тихим и почти таким же глубоким, как смерть.

Неожиданно, в тот ранний час перед рассветом, когда тьма становится всего чернее, Ван Лун открыл глаза и почувствовал такую слабость, словно душа уже покинула его тело. Он скосил немного глаза и увидел, что Цветок Груши сидит возле него. Он был так слаб, что испугался этой слабости, и сказал прерывающимся шепотом, с трудом переводя дыхание:

— Дитя, это смерть?

Она успокаивала его, повторяя снова и снова, своим обыкновенным голосом:

— Нет, нет, господин, тебе лучше, ты не умираешь!

— Ты... так думаешь? — прошептал он снова, успокоенный ее ровным, как всегда, голосом, и остановил потускневший взгляд на ее лице.

Тогда Цветок Груши поняла, что должно произойти, сердце ее забило сильно и быстро, она встала и, склонившись над ним, сказала все тем же мягким и ровным голосом:

— Разве я когда-нибудь обманывала тебя, господин? Смотри, я держу твою руку, и она теплая и сильная, тебе с каждой минутой становится лучше! Тебе хорошо, господин! Тебе нечего бояться, — не бойся же, тебе лучше, гораздо лучше!

Она успокаивала его, повторяя снова и снова, что ему лучше, и крепко сжимала его руку своими теплыми руками, и он лежал, улыбаясь ей, а глаза его становились все мутнее и неподвижнее, губы холодели, и слух напрягался, ловя звуки ее ровного голоса. Когда она увидела, что наступила его последняя минута, она наклонилась ближе к нему и сказала ясно и громко:

— Тебе лучше, гораздо лучше! Это не смерть, господин мой, нет, это не смерть!

Так она утешала умирающего, и, отзываясь на ее голос, сердце его вздрогнуло в последний раз — и остановилось. Но смерть его не была спокойной. Нет, хотя он умер утешенным, но в ту минуту, когда его душа расставалась с телом, оно взметнулось, словно в припадке ярости, руки и ноги раскинулись с та-

кой силой, что костлявая дряхлая рука взлетела вверх и ударила наклонившуюся к нему Цветок Груши. Рука ударила ее по лицу, и так больно, что она закрылась рукой и прошептала:

— В первый раз ты ударил меня, господин!

Но он не ответил. Тогда она опустила глаза и увидела, что он лежит весь разметавшись, и в то время как она смотрела на него, он испустил последний прерывистый вздох и затих. Она выпрямила его дряхлые руки и ноги, дотрагиваясь до них легко и осторожно, и поправила одеяло, покрывавшее его. Тонкими пальцами она закрыла остановившиеся глаза, которые больше не могли ее видеть, и с минуту смотрела на улыбку, не сходящую с его лица с тех пор, как она сказала ему, что он не умрет.

Она сделала все, что нужно, и понимала, что теперь должна пойти и позвать сыновей. Но она снова села на низкий стул. Она понимала, что должна пойти и позвать сыновей. Но она взяла руку, которая ее ударила, прижалась к ней головой и, пользуясь тем, что она одна в комнате, беззвучно заплакала скупыми слезами. Сердце у нее было странное, печальное по самой своей природе, и плачем она не могла облегчить его, потому что слезы не приносили ей успокоения. Так она просидела недолго, потом поднялась и пошла будить обоих братьев, говоря им:

— Вам незачем спешить, он уже умер!

Но они откликнулись на ее зов и поспешно вышли к ней, — старший в шелковой нижней одежде, которая смялась на нем во время сна, со сбившимися волосами; оба они, не мешкая, отправились к отцу. Он лежал так, как уложила его Цветок Груши, и оба сына смотрели на него, словно до сих пор никогда его не видели, и теперь он внушал им страх. Потом старший сын спросил шопотом, словно в комнате был кто-то чужой:

— Легко он умирал или трудно?

И Цветок Груши ответила спокойно, как всегда:

8 — Он умер, сам не зная, что умирает.

Тогда второй сын сказал:

— Он словно спит и не похож на мертвого.

Некоторое время оба сына смотрели на умершего отца с каким-то неясным и смутным страхом, оттого что он так незащитно лежал перед ними, и Цветок Груши, угадав этот страх, кротко сказала:

— Для него еще многое нужно сделать.

Тогда они оба очнулись и были рады, что им снова напомнили о жизни; старший торопливо разглядел смятую одежду и, проведя рукой по лицу, хрипло сказал:

— Верно, верно: нам нужно позаботиться о похоронах, — и они заторопились прочь, довольные, что уходят из дома, где лежит их умерший отец.

II

Незадолго до смерти Ван Лун дал своим сыновьям наказ, чтобы гроб с его телом оставили в старом доме до тех пор, пока его не зароят в собственной земле. Но когда пришло время готовиться к похоронам, сыновья подумали, что очень трудно будет ходить так далеко из городского дома, и, вспомнив, что до погребения должно пройти сорок девять дней, решили, что не стоит слушаться отца, раз его уже нет в живых. И правда, во многих отношениях это было для них неудобно: священники из городского храма жаловались, что на отпевание нужно ходить так далеко, и даже люди, которые пришли обмыть и одеть тело Ван Луна, облачить его в шелковые погребальные одежды, положить в гроб и запечатать крышку гроба, требовали двойной платы и просили так много, что средний сын пришел в ужас.

Тогда братья переглянулись, стоя над гробом старика, и обоим пришла в голову одна и та же мысль: «Мертвый ничего больше не скажет». Они позвали арендаторов и велели перенести Ван Луна в городской дом, на те дворы, где он жил, а Цветок Груши, хотя и возражала против этого, не могла уговорить их.

Когда она поняла, что слова ее не достигают цели, она сказала спокойно:

— Я думала, что мы с бедной дурочкой не вернемся больше в городской дом, но если господин наш возвращается, то и мы должны вернуться вместе с ним, — и она взяла с собой дурочку, старшую дочь Ван Луна, уже немолодую женщину, которая и в старости осталась все тем же неразумным ребенком, каким была всю свою жизнь, и пошла вместе с ней по проселочной дороге за гробом Ван Луна, а дурочка шла и смеялась оттого, что день был весенний, ясный и теплый и солнце светило ярко.

Так Цветок Груши снова вернулась во двор, где она жила при жизни Ван Луна: на этот двор он привел ее много лет назад, в тот день, когда, несмотря на старость, кровь его струилась быстро и легко, и он чувствовал себя одиноким в большом доме. Теперь во дворе было тихо, со всех дверей большого дома сорвали красные бумажные квадраты в знак того, что смерть вошла в дом, и на большие ворота с улицы наклеили белую бумагу. Цветок Груши и день и ночь проводила возле покойного.

Однажды, когда она сидела возле гроба Ван Луна, к калитке дворика подошла служанка. — Лотос, первая наложница Ван Луна, прислала ее с известием, что придет поклониться своему покойному господину. Цветок Груши обязана была ответить ей вежливо, что она и сделала, хотя ненавидела Лотос, свою старую госпожу, и, поднявшись с места, стала дожидаться ее, передвигая взад и вперед свечу, горевшую возле гроба.

В первый раз Цветку Груши пришлось свидеться с Лотосом, в первый раз с того дня, когда Лотос рассердилась на Ван Луна, узнав, что он взял на свой двор девушку, которая с детства была ее рабыней, и приказала, чтобы Цветок Груши не показывалась ей больше на глаза. Она до сих пор так ревновала и сердилась, что притворялась, будто не знает, жива или нет Цветок Груши. По правде сказать, Лотос была любопытна, и теперь, когда Ван Лун умер, она оказала Кукушке —

10 своей служанке:

— Что ж, если старик умер, нам с ней не из-за чего больше ссориться, — пойду посмотрю, на что она стала похожа.

Выбрав тот ранний час, когда священников еще не было у гроба, Лотос, опираясь на рабынь и стгорая от любопытства, вперевалку вышла со своего двора.

Она вошла в ту комнату, где Цветок Груши молилась, стоя у гроба, и приказала одной из рабынь зажечь перед гробом свечи и благовония, которые принесла с собой ради приличия. И пока рабыня это делала, Лотос не сводила глаз с Цветка Груши и жадно разглядывала — не изменилось ли ее лицо, не постарела ли она. Да, хотя Лотос надела траурные одежды и обулась в белые башмаки, — лицо ее не было печально, и она крикнула Цветку Груши:

— Ну, ты все та же бледная малютка, какой была прежде, и нисколько не изменилась! Не знаю, что он в тебе нашел? — И она утешалась тем, что Цветок Груши мала ростом и бесцветна и красота ее не бросается в глаза.

А Цветок Груши стояла возле гроба с поникшей головой и молчала, но такая ненависть наполнила ее сердце, что она испугалась сама себя и устыдилась при мысли, что она может быть такой злобной и так ненавидеть свою старую госпожу. Но дряхлый и рассеянный ум Лотоса не мог сосредоточиться даже на ненависти, и, насмотревшись досыта на Цветок Груши, она взглянула на гроб и пробормотала:

— Я готова поклясться, что его сыновья заплатили за это целую кучу серебра!

Она тяжело поднялась на ноги, подошла поближе к гробу и пощупала дерево, чтобы узнать ему цену.

Но Цветок Груши не могла вынести этого грубого прикосновения к тому, что она так нежно оберегала, и вскричала неожиданно и резко:

— Не тронь его! — и, стиснув маленькие руки на груди, закусила нижнюю губу.

Лотос засмеялась в ответ и крикнула: